

**И. С. Кон**

## **ЭПОХУ НЕ ВЫБИРАЮТ**

---

Кон Игорь Семенович — доктор философских наук, академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, почетный профессор Корнеллского университета (США).

---

Давно сказано: «все хорошее о себе говори сам, плохое о тебе скажут твои друзья». В наши дни всеобщей переоценки ценностей и взаимного агрессивного сведения счетов этот совет особенно соблазнителен. Очень хочется уверить себя и других, что ты всегда был хорошим и праведным, и если некоторые твои сочинения сегодня «не смотрятся», повинны только время и объективные условия. Увы, из песни слова не выкинешь. Мы, мое поколение, были не только жертвами безвременья, но и его соучастниками.

Я начал заниматься наукой очень рано — в пятнадцать лет стал студентом, в девятнадцать окончил педагогический институт, в двадцать два года имел две кандидатских степени. Однако это не было следствием раннего интеллектуального созревания. Скорее даже наоборот. По складу характера и воспитанию я был типичным первым учеником, который легко схватывает поверхность вещей и быстро движется вперед, не особенно оглядываясь по сторонам. Быть первым учеником всегда плохо, это увеличивает опасность конформизма. Быть отличником в плохой школе, — а сталинская школа учебы и жизни была во всех отношениях отвратительна, — опасно вдвойне; для способного и честолюбивого юноши нет ничего страшнее старательного усвоения ложных взглядов и почтения к плохим учителям. Если бы не социальная маргинальность, связанная с еврейской фамилией, закрывавшая путь к политической карьере и способствовавшая развитию изначально скептического склада мышления, из меня вполне мог бы вырасти идеологический погромщик или преуспевающий партийный функционер.

Ведь убедить себя в истинности того, что выгодно и с чем опасно спорить, так легко... Плюс — агрессивное юношеское невежество, которому всегда импонирует сила. Мальчишке, который не читал ни строчки Анны Ахматовой, а с Пастернаком был знаком по одной-единственной стихотворной пародии, было нетрудно поверить докладу Жданова. Рассуждения Лысенко, в силу их примитивности, усваивались гораздо легче, чем сложные генетические теории. Дело было не в частностях, а в самом стиле мышления: все официальное, идущее сверху, было по определению правильно, а если ты этого не понимал — значит, ты неправ. Просматривая сейчас свои статьи 1950-х, я поражаюсь их примитивности, грубости и цитатничеству. Но тогда я нисколько не сомневался, что именно так и только так можно и нужно писать.

Значит ли это, что я всему верил или сознательно лгал? Ни то, ни другое.

Видя кругом несовпадение слова и дела, я еще на студенческой

скамье начал сомневаться в истинности некоторых догм и положений истории КПСС. Но сомнения мои касались не столько общих принципов, сколько способов их осуществления (религия хороша, да служители культа плохи) и, как правило, не додумывались до конца. У нас дома никогда не было портретов Сталина, и я не верил историям о «врагах народа». Хороший студент-историк, я и без подсказок извне понял, что если бы все эти люди, как нас учили, чуть ли не с дореволюционных времен состояли между собой в сговоре, они могли сразу после смерти Ленина выкинуть из ЦК крошечную кучку праведников, не дожидаясь, пока их разобьют поодиночке. Но трудов их я, разумеется, не читал и никаких сомнений в теоретической гениальности вождя народов у меня не возникало. А если и возникали, то профессора их легко рассеивали.

Сначала инстинктивно, а потом сознательно я избегал откровенно конъюнктурных тем, предпочитая такие сюжеты, в которых идеологический контроль был слабее (этим отчасти объясняется и смена моих научных интересов). Меня интересовали преимущественно теоретические вопросы, хотя философские работы без ссылок на партийные документы были просто невыносимы. Став старше, я научился сводить обязательные «ритуальные приседания» к минимуму. Впрочем, внешняя косметическая чистоплотность отнюдь не избавляла от интеллектуальных и нравственных компромиссов.

Вначале они не были даже компромиссами, потому что внутренняя самоцензура действовала автоматически и была эффективнее цензуры внешней. Идеологическая лояльность в сталинские и первые послесталинские времена гарантировалась двояко.

Во-первых, почти в каждом из нас жил внушенный с раннего детства страх. Из моих близких никто не был репрессирован, но я на всю жизнь запомнил, как в 1937 г. у нас в комнате, на стенке карандашом, незаметно, на всякий случай, были написаны телефоны знакомых, которым я должен был позвонить, если мою маму, беспартийную медсестру, вдруг арестуют. В 1948 г., будучи аспирантом, я видел и слышал, как в Герценовском институте поносили последними словами и выгоняли с работы вчера еще всеми уважаемых профессоров «вейсманистов-морганистов»; один из них, живший в институтском дворе, чтобы избежать встреч с бывшими студентами и коллегами, вместо калитки проходил через дыру в заборе. В 1949 г. пришла очередь «безродных космополитов» и «ленинградского дела». В 1953 г. было дело врачей—убийц и так далее.

От такого опыта трудно оправиться. Когда бьют тебя самого, возникает, по крайней мере, психологическое противодействие. А когда у тебя на глазах избивают других, чувствуешь прежде всего собственную незащищенность, страх, что это может случиться и с тобой. Чтобы отгородиться от этого страха, человек заставляет себя верить, что, может быть, «эти люди» все-таки в чем-то виноваты, а ты не такой и поэтому с тобой этого не произойдет. Но полностью убедить себя не удастся, поэтому ты чувствуешь себя подлым трусом. А вместе с чувством личного бессилия рождается и укореняется социальная безответственность. Тысячи людей

монотонно повторяют: «Ну, что я могу один?».

Второй защитный механизм — описанное Джорджем Оруэллом двоемыслие, когда человек может иметь по одному и тому же вопросу два противоположных, но одинаково искренних мнения. Двоемыслие — предельный случай отчуждения личности, разорванности ее официальной и частной жизни. В какой-то степени оно было необходимым условием выживания. Тот, кто жил целиком в мире официальных лозунгов и формул, был обречен на конфликт с системой. Рано или поздно он должен был столкнуться с тем, что реальная жизнь протекает вовсе не по законам социалистического равенства и что мало кто принимает их всерьез. А тот, кто понимал, что сами эти принципы ложны, был обречен на молчание или сознательное лицемерие. Последовательных циников на свете не так уж много. Большинство людей бессознательно принимают в таких случаях стратегию двоемыслия, их подлинное Я открывается даже им самим только в критических, конфликтных ситуациях.

До XX съезда эти вопросы меня мало заботили, мне даже в голову не приходило, что не обязательно сверять свои мысли с ответом в конце задачника,— отличники учебы любят готовые ответы. А когда я постепенно поумнел, то научился выражать наиболее важные и крамольные мысли между строк, эзоповым языком, не вступая в прямую конфронтацию с системой. Читатели 1960—70-х гг. этот язык отлично понимали, его расшифровка даже доставляла всем нам некоторое эстетическое удовольствие и чувство «посвященности», принадлежности к особому кругу. Но при этом мысль неизбежно деформировалась. Мало того, что ее можно было истолковывать по-разному. Если долго живешь по формуле «два пишем, три в уме», в конце концов сам забываешь, что у тебя «в уме», и уже не можешь ответить на прямой вопрос не из страха, а от незнания. Я не говорю уже о неизбежных нравственных деформациях личности.

И все-таки не торопитесь с приговором. В тоталитарном обществе юноша утрачивает интеллектуальную и нравственную невинность гораздо раньше, чем становится способным к самостоятельному выбору. Коллективизм-конформизм и ранняя идеологическая индоктринация развращали нас с детства, официальные нормы и стиль поведения воспринимались как нечто естественное, единственно возможное, интеллектуальные сомнения и нравственная рефлексия приходили, если вообще приходили, много времени спустя. А перевоспитание и самоперевоспитание — процесс значительно более сложный, чем первичная социализация. Ведь нужно преодолеть не только страх и внешнее давление, но и инерцию собственного отрицательного опыта.

Выдавить из себя раба по капле, как это рекомендовал Чехов, практически невозможно: рабская кровь самовосстанавливается быстрее, чем выдавливается. Тут нужно гораздо более радикальное обновление. Действительно свободными становились только те, кто полностью, хотя бы внутренне, порывал с системой, начиная жить по другой системе ценностей, — открытые диссиденты, правозащитники и те интеллектуалы, которые сознательно писали «в стол». Но таких было немного. Для этого требовались не только смелость, но также определенный тип личности (не всегда приятный, некоторые диссиденты были органически неспособны ни к какой конструктивной деятельности) и наличие соответствующей среды.

Разные поколения объективно обладают неодинаковым потенциалом инакомыслия. Чем дальше заходило внутреннее разложение тоталитарной власти и идеологии, тем легче было осознать их убожество и найти в этом единомышленников. Сдержанный скепсис родителей у детей перерастал в полное отвержение системы. Мое поколение подвергалось значительно меньшему социальному и духовному давлению, чем люди 30-х годов, студентам 60-х уже трудно было понять некоторые ситуации десятилетней давности, а современной молодежи кажется странной трусость или беспринципность, называйте как хотите, 70-х. Но можно ли гордиться тем, что ты родился в другое, более свободное, время? Твое свободомыслие отчасти выстрадано молчанием предков.

Но вернусь к своей работе.

Обе мои кандидатские диссертации (1950) — по истории и по философии — были посвящены истории общественной мысли (первая — общественно-политическим взглядам Джона Мильтона, вторая — этическим воззрениям Чернышевского) и отличались от обычных тогдашних работ этого типа разве только более высокой эрудицией. Кстати, философская моя диссертация выросла из комсомольской работы. В студенческие и аспирантские годы я был внештатным инструктором по школам Куйбышевского райкома комсомола Ленинграда. Пытаясь преодолеть официальную казенщину, мы проводили с ребятами интересные диспуты на моральные темы, и на одном из них возник вопрос, как относиться к теории разумного эгоизма Чернышевского. Я заинтересовался, стал читать. К тому времени о Чернышевском было защищено уже около 600 диссертаций, но о его этике публикаций почему-то не было. Так у меня появились вторая кандидатская диссертация и первая статья в «Вопросах философии». В годы аспирантуры (1947—1950) я сдал еще третий кандидатский минимум, по теории государства и права и истории политических учений на юридическом факультете ЛГУ, но третью диссертацию защищать не стал.

Первой публикацией, которая принесла мне широкую профессиональную известность, была статья «Наука как форма общественного сознания» (1951). По сути дела, это был всего лишь догматический комментарий к «гениальному труду» Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Но, по тем временам, статья казалась невероятно смелой, в ней утверждалась — подумать только! — ненадстроечность, неклассовость и беспартийность естественных (но, конечно, не общественных) наук. Вероятно, по молодости лет я и сам не сознавал степени возможного риска. После этого написал еще ряд статей по истмату и этике, но больше всего меня увлекли философия истории и теоретико-методологические вопросы исторического исследования.

Не имея, как и почти все мои сверстники, сколько-нибудь приличной историко-философской подготовки, я просиживал бесконечные часы в ленинградских и московских спецхранах, читая Дильтея, Кроче, Зиммеля и других классиков западной философии и историографии. Вследствие своей дремучей темноты, долгое время я совершенно честно не воспринимал в этих книгах ничего, кроме отдельных положений, противоречащих марксизму-ленинизму и, следовательно, заведомо ложных. Но постепенно появились недоуменные вопросы, а затем и зачатки собственной мысли. Однако

все это было крайне незрелым. Моя докторская диссертация «Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли» (1959), полностью опубликованная на немецком и чешском языках (русские издания почти всех моих «доперестроечных» книг значительно хуже иностранных, так как здесь был более жесткий редакторский контроль), в целом была весьма догматичной, особенно когда речь шла о таких острых и деликатных вопросах, как соотношение партийности и объективности в историческом исследовании или о критериях социального прогресса. Но по тем временам она выглядела прилично, в ней было много новых для нашего обществоведения имен, проблем и вопросов, над которыми следовало думать. Несмотря на свою примитивность, книга была замечена на Западе некоторыми видными учеными, причем не только марксистами (Раймон Арон, Джеффри Бараклаф и другие). Меня даже пригласили участвовать в подготовке главы «История» для международного исследования ЮНЕСКО «Главные тенденции развития общественных и гуманитарных наук».

Докторская диссертация сделала меня одним из ведущих специалистов по так называемой критике буржуазной философии и социологии. Это была очень своеобразная, ни на что не похожая сфера деятельности. Судя по названию — стопроцентная идеология. Часто так было и на самом деле. Однако под видом критики «чуждых теорий» можно было знакомить с ними советских читателей и обсуждать новые для них проблемы. «Критика» заменяла советской интеллигенции недоступные первоисточники, с нее начинали свою научную деятельность многие наиболее образованные и талантливые философы и социологи моего поколения — Галина Андреева, Пиамма Гайдено, Олег Дробиицкий, Юрий Замошкин, Нелли Мотрошилова, Эрих Соловьев и другие.

На поверхностный взгляд, это был типичный мазохизм, люди критиковали преимущественно то, чем втайне увлекались: философы, склонные к экзистенциализму, критиковали Хайдеггера и Сартра, потенциальные позитивисты «прорабатывали» Карла Поппера и т. д. На самом же деле это было не столько сведение личных интеллектуальных счетов, сколько закамуфлированное просветительство. В дальнейшем, по мере ослабления цензурных запретов, «критическая критика» превращалась либо в положительную разработку соответствующей проблематики, либо в нормальную историю философии и науки.

Однако эта деятельность имела свои психологические издержки. Иногда она способствовала выработке деструктивного стиля мышления и в какой-то мере ограничивала полет собственного творческого воображения. Кроме того, чтение хорошей литературы пагубно влияло на самоуважение. Когда я был молодым и всесторонне неразвитым, все, что приходило мне в голову, казалось новым и значительным. Теперь же, если появляется новая мысль, я всегда думаю: наверняка кто-нибудь ее уже высказал, просто мне не попалось на глаза. Людям, которые мало читают и искренне верят, что все классики науки живут с ними в одном околотке и печатаются в тех же самых ученых записках, живется гораздо легче. Хотя их «открытия» большей частью остаются незамеченными, чувствовать себя непризнанным гением приятнее, чем скромным продолжателем и популяризатором чужих идей.

В начале 60-х годов в СССР началась борьба за возрождение социологии, хотя бы — чтобы не дразнить гусей и не посягать на теоретическую монополию истмата и «научного коммунизма» — в форме «эмпирических социальных исследований». Но никакая наука не может развиваться, не зная собственной истории. Этим я и занялся, написав первый более или менее профессиональный очерк истории Западной социологии (книга «Позитивизм в социологии», 1964) и создав (1968) сектор истории социологии в Институте конкретных социальных исследований АН СССР. В 1970 г. на Международном социологическом конгрессе в Варне я основал Исследовательский комитет по истории социологии Международной социологической ассоциации и в течение 12 лет был его президентом и вице-президентом" (поскольку советские власти ни разу за эти годы не выпустили меня для участия в его работе, меня выбирали заочно). Хотя мои книги по истории социологии были ограничены условиями своего времени — все социологические теории приходилось оценивать прежде всего с точки зрения их совместимости или несовместимости с марксизмом — они были достаточно содержательны и информативны и, надеюсь, способствовали формированию профессиональной культуры нового поколения советских социологов.

В меру своих сил и возможностей я старался способствовать и русским переводам зарубежных книг. Это было совсем не просто. Мешала не столько цензура, сколько безграмотные псевдоученые, которые справедливо опасались, что не выдержат конкуренции с переводными авторами.

В 1969 г. с помощью М. Я. Гефтера мне удалось выпустить под грифом Института всеобщей истории АН СССР большой (свыше 500 страниц) сборник переводных статей «Современные тенденции в буржуазной философии и методологии истории». Увы, только «для служебного пользования», тиражом всего 200 экземпляров. В 1976 г. в издательстве «Прогресс» я издал сборник «Философия и методология истории». Идеологически книга была совершенно безобидна, ее собирались издать большим тиражом. Но в самый последний момент патологический антисемит, работавший в главной редакции «Прогресса», написал донос, что в книге пропагандируется буржуазная идеология и т. п. И хотя эта атака была отбита, сборник «на всякий случай» выпустили с грифом «для научных библиотек», в свободной продаже его не было. В 1979 г. совместно с А. Г. Вишневским удалось издать важный сборник переводов по исторической демографии. В 1980 г. в серии «Памятники исторической мысли» вышла «Идея истории» Р. Дж. Коллингвуда, в 1988 г. в «Этнографической библиотеке» — избранные сочинения Маргарет Мид.

Параллельно историко-социологическим сюжетам я много лет занимался проблемами личности. Началось это самым постыдным образом, заказной статьей о всестороннем развитии личности при социализме в журнале «Коммунист» (1954), в которой не было ни единого живого слова, сплошной пропагандистский вздор. В то время мне даже не приходило в голову, что систему фраз можно как-то сопоставлять с действительностью; к обоюдному удовольствию они существовали у нас как бы в разных измерениях.

Между прочим, при обсуждении статьи один из членов

редколлегии журнала весьма аргументированно и совершенно неожиданно для меня сказал, что преимущества социализма показаны в ней неубедительно. Но, когда я попытался что-то конкретизировать, заведующий философским отделом все это вычеркнул, сказав: «На редколлегии говорить легко. А на самом деле, чем подробнее об этих вещах пишешь, тем менее убедительно они выглядят. Оставьте все, как было». Когда журнал вышел в свет, оказалось, что из статьи убрали даже те робкие указания на трудности бытия, которые в ней были (например, на нехватку мяса). Старшие коллеги—философы мне завидовали — шутка ли, орган ЦК КПСС! — а знакомый студент—математик наедине сказал: «Ну, конечно, я понимаю, если жрать нечего, можно писать и так. Но Вы-то зачем это делаете?»

Разумеется, говорить правду, только правду и всю правду преподаватель общественных наук, если он не хотел лишиться работы, не мог. Но некоторая свобода выбора в хрущевские и в брежневские времена все-таки существовала. Если ты чего-то не хотел писать, можно было промолчать.

Моя самая важная, с точки зрения ее социального воздействия, книга «Социология личности» (1967) была написана на основе курса лекций, прочитанных в Ленинградском университете на изломе хрущевских реформ. Эти факультативные лекции в огромной аудитории, куда вместо пятисот человек набивалось свыше тысячи (комендант здания официально предупреждал партком ЛГУ, что не отвечает за прочность ветхого амфитеатра), где места занимали за два часа до начала лекций, а слушатели, не только студенты, но и профессора, стояли в духоте, плотно прижавшись друг к другу и при этом соблюдая абсолютную тишину (зал не был радиофицирован), — одно из сильнейших впечатлений моей жизни. Конечно, это не было моей личной заслугой. Студенческая молодежь середины 60-х страстно жаждала информации о себе и о своем обществе. Для нее все было внове. Как писал об этом времени ленинградский писатель Николай Крышук, «мы тогда стремились к универсальным ответам, потому как и вопросы наши были универсальны... Многие вопросы, прочно вошедшие сегодня в общественный и научный обиход, тогда поднимались впервые. Вот почему слова «социология» и «личность» имели в конце 60-х годов особое обаяние».

Сегодняшний читатель, если ему попадет в руки «Социология личности» (из большинства библиотек она сразу же была украдена), не сможет понять, почему эта небольшая и, в общем-то, поверхностная книжка имела такой читательский успех и повлияла на профессиональный выбор и даже личную судьбу некоторых людей. Думаю, весь секрет в акцентах. Впервые в советской литературе после 20-х годов была прямо и жестко поставлена проблема конформизма и личной социальной ответственности. Индивидуальное самосознание, которое наши психологи считали сомнительным и опасным «ячеством» и «копанием в себе», оказалось необходимым элементом самореализации. В книге были позитивно изложены ролевая теория личности, учение о защитных механизмах и многие другие «западные» идеи, считавшиеся запретными и «буржуазными» или просто малоизвестными.

Однако ни по цензурным условиям, ни по уровню своего собственного мышления я не мог пойти дальше теоретического

обоснования хрущевских реформ и абстрактной критики казарменного коммунизма, в котором легко узнавалась советская действительность. Развивая идеи «гуманного социализма», я не знал, как их можно осуществить и реальны ли они вообще. Трагические социально-политические коллизии переводились в более гладкую и безопасную плоскость социальной психологии и этики. Книга стимулировала критическое размышление, но не подсказывала, что надо делать. Я сам этого не знал. А если бы знал, побоялся бы сказать.

После разгрома «Пражской весны» последние иллюзии относительно будущего плавного развития советского «социализма», если таковые еще были, окончательно рассеялись. Чтобы не лгать и вообще избежать обсуждения советских реалий, я сознательно пошел по пути психологизации своей тематики, сконцентрировав внимание на внутренних механизмах человеческого Я и на том, как модифицируются процессы самосознания в сравнительно-исторической, кросс-культурной перспективе. Этому посвящены книги «Открытие Я» (1978), «В поисках себя» (1984), а также множество статей.

В профессиональном отношении эти книги, особенно вторая, значительно содержательнее «Социологии личности», да и личностно-нравственные акценты расставлены в них гораздо точнее. Американский социолог Мюррей Янович определил идейный стержень моих работ как «настоящее прославление личной независимости или автономии», утверждение «высшей ценности независимости мысли и действия». В абстрактной форме и на «постороннем» материале я обсуждал наболевшие вопросы о том, что делать индивиду в исторически тупиковой ситуации и какова мера личной ответственности каждого за социальные процессы.

Читатели, разумеется, понимали смысл сказанного. Но сознательный, демонстративный уход от рассмотрения реальных проблем советской жизни, о которых можно было говорить только намеками, существенно обеднял эти книги. Советский писатель 80-х годов уже вырос из иносказаний, а нарочито сухие, формальные ссылки на очередной «исторический» съезд или пленум, которые раньше воспринимались просто как досадные помехи, вроде глушилок при слушании Би-би-си, стали теперь той ложкой дегтя, которая безнадежно портит всю бочку меда. Если автор лукавит в очевидном, можно ли доверять ему в остальном? Мои книги по-прежнему было трудно купить, но я все сильнее чувствовал себя вороной в павлиньих перьях. Пример Сахарова и Солженицына обязывал жить и работать иначе, но нравственных сил на это не хватало.

Решающее значение для моего интеллектуального и нравственного развития имело сотрудничество в «Новом мире» Твардовского. То, что я писал до середины 60-х, было более или менее профессионально, но безлично. «Новый мир» позволил в какой-то степени преодолеть эту отчужденность, выйти на темы, которые были не только социально, но и личностно для меня значимы.

В 60-е годы в советском обществе уже отчетливо проступали те тенденции, которые в дальнейшем неминуемо должны были привести его к краху, в частности, аппаратно-бюрократический

антиинтеллектуализм и кризис в межнациональных отношениях. Обсуждать такие вопросы напрямик было невозможно, но это опять-таки можно было сделать на зарубежном материале. Мои статьи не были кукишем в кармане. Если я писал об американской интеллигенции, то действительно изучал (насколько это было возможно по книгам) американскую ситуацию, а для статьи «Диалектика развития наций» пришлось перелопатить целую кучу канадских, бельгийских, французских и иных источников. Однако меня интересовали общие, глобальные проблемы.

В статье «Психология предрассудка» (1966) впервые в советской печати рассматривался вопрос о природе, социальных истоках и психологических механизмах антисемитизма и вообще этнических предубеждений. В «Диалектике развития наций» (1970) был поставлен под сомнение популярный в те годы тезис, что национальные движения — удел преимущественно «третьего мира», показана закономерность роста национализма в индустриально развитых странах и отмечены некоторые его общие особенности; это имело прямое отношение к тому, что подспудно назревало и у нас. Статьи о национальном характере способствовали прояснению теоретико-методологических основ будущей отечественной этнопсихологии. В «Размышлениях об американской интеллигенции» (1968) шел разговор о взаимоотношениях интеллектуалов и аппарата власти, а примыкающие к этой статье работы о западном студенчестве помогли становлению советской социологии молодежи, разработке проблемы поколений, возрастных категорий и т. д. «Студенческой революции» я посвятил, кроме нескольких статей, книгу «Социологи и студенты», которая была опубликована в Финляндии (1973) и в Италии (1975); выпустить ее на русском и других языках (переводы были сделаны) Агентство печати «Новости» побоялось из-за того, что называли в те годы «неконтролируемым подтекстом», — ведь наше собственное студенчество тоже начинало бурлить.

После разгрома «Нового мира», в атмосфере усиливающейся реакции 70-х годов заниматься социологией молодежи становилось все труднее. Но тем временем мои интересы в значительной мере сместились в сторону психологии юношеского возраста. Первоначально интерес к ней был у меня чисто личным. Поступив в институт пятнадцатилетним, я на несколько лет утратил контакты со сверстниками, и хотя позже они возобновились, у меня на всю жизнь сохранился живой интерес к тому, как переживают этот сложный возраст другие. Делать это предметом профессиональных занятий я не собирался. Но пребывание в 1965 г. в «Орленке» показало мне, что юношеская психология очень нужна не только учителям, но и ребятам. Подростковый читатель, от пятнадцати и старше, появился у меня уже с «Социологии личности», хотя она не была на него рассчитана. Так было и с последующими книгами; даря их друзьям, у которых были дети—старшеклассники, я заранее знал, что сначала книгу прочтут дети, а потом уже — родители. Дети моих друзей часто становились моими друзьями.

Поэтому, когда А. В. Петровский предложил мне написать сначала главу для учебного пособия по возрастной психологии, а потом самостоятельную книгу на эту тему, я согласился. В известном смысле это была авантюра. Ни мой личный опыт общения с

подростками, ни советские литературные источники не позволяли написать настоящий, хороший учебник. Зато я знал западную литературу. Кроме того, в начале 70-х вместе с аспирантом Владимиром Лосенковым и при участии группы студентов-психологов мы провели довольно крупное эмпирическое исследование юношеской дружбы, содержащее также большой блок вопросов, касавшихся самосознания и общения вообще. Занимался я и проблемами юношеской сексуальности. Все это, вместе взятое, послужило базой для учебного пособия «Психология юношеского возраста» (1979). Книги такого рода в СССР не было 50 лет. В 1980 и 1982 гг. вышло ее расширенное издание — «Психология старшеклассника», а в 1989 г. — переработанный и дополненный вариант — «Психология ранней юности».

Другим моим постоянным сюжетом стала дружба. Сейчас эта тема очень популярна на Западе, но в начале 70-х годов ее мало кто принимал всерьез, она казалась частной, пригодной скорее для назидательных сочинений, чем для науки. Между тем дружба чрезвычайно интересна как с точки зрения теории личности и психологии общения, так и в широком социокультурном контексте: действительно ли межличностные отношения оскудевают с развитием цивилизации или это одна из распространенных романтических иллюзий? Ответить на этот вопрос я пытался в книге «Дружба». Первый ее вариант был издан в Венгрии (1978) и ФРГ (1979), затем было три русских издания (1980, 1987 и 1989), причем второе — дополненное и радикально переработанное (в начале 1980-х годов в мировой психологии появилась новая парадигма изучения личных взаимоотношений), и восемь иноязычных изданий. Мне кажется, что эта книга и сегодня не устарела, хотя ее следовало бы дополнить основательным анализом потенциальных и реальных гомозеротических аспектов дружбы. Тогда это было невозможно.

Книга открывалась эпиграфом из Шопенгауэра: «Истинная дружба — одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют». Издательство ничего не имело против данной мысли, но открывать книгу словами «реакционного буржуазного философа» Политиздат счел неудобным. Пришлось эту цитату перенести в текст и искать другой эпиграф. В работу включилась редактор книги М. А. Лебедева, с которой мы давно уже плодотворно сотрудничали. И вот получаю от нее письмо: «И.С., я нашла подходящую цитату из Маркса. Мысль та же, что у Шопенгауэра, и никто не придерется». Дальше следовал такой текст: «...*Истинный брак, истинная дружба* нерушимы, но... никакой брак, никакая дружба не соответствуют полностью своему понятию». Цитата мне понравилась, но смутило, почему в ней два отточия. Открыл том Маркса и прочитал следующее: «*Истинное государство, истинный брак, истинная дружба* нерушимы, но никакое государство, никакой брак, никакая дружба не соответствуют полностью своему понятию». Отвечаю Лебедевой: эпиграф подходит, но давайте восстановим его полный текст, государство это как-нибудь переживет! Но разве можно было даже намеком подвергать сомнению, что идеальное советское государство полностью «соответствует своему понятию»? Подлинный текст Маркса был восстановлен только в третьем издании книги. Вот как мы жили.

Ни личность, ни юность, ни общение невозможно понять без учета половых различий и сексуальной мотивации. Однако эти сюжеты были у нас абсолютно запретными, и я, будучи сам воспитан в пуританском духе, не собирался эти табу нарушать. Тем не менее сделать это пришлось. Отчасти в этом виноват мой аспирант Сергей Голод, который еще в 60-х годах, вопреки моим советам,— я предупреждал его, что эта тема в СССР «недиссертабельна» и даже опасна (я был прав, защитить диссертацию Голоду так и не удалось, несмотря на кучу положительных отзывов),— занялся эмпирическим изучением сексуального поведения советской молодежи и тем самым вовлек меня в это «грязное дело». Отчасти же действовала внутренняя логика научного поиска.

Уже занимаясь историей позитивизма в социологии, я не мог не познакомиться с трудами Альфреда Кинзи, а затем — интересно же! — и с другими подобными книгами. А если знаешь что-то полезное — как не поделиться с другими? Моя первая статья на эти темы «Половая мораль в свете социологии» (1966) была опубликована в журнале «Советская педагогика». Несколько страниц о сексуальной революции и о психосексуальном развитии человека содержала и «Социология личности». Широкий общественный резонанс имела статья «Секс, общество, культура» в «Иностранной литературе» (1970).

Постепенно меня стали интересовать не только социология и психология сексуального поведения, но и теоретико-методологические проблемы самой сексологии как междисциплинарной отрасли знания. Мне пришлось написать об этом статьи для «Большой Советской Энциклопедии» и для «Медицинской энциклопедии». В 1976 г. по просьбе ленинградских психиатров и сексопатологов я прочитал в психоневрологическом Институте им. Бехтерева лекционный курс о юношеской сексуальности, содержащий также ряд соображений общего характера. Лекции вызвали значительный общественный интерес. Известный польский сексолог Казимеж Имелиньский заказал мне главу для коллективного труда «Культурная сексология», а венгерское партийное издательство им. Кошута — книгу «Культура / сексология». Рукопись получила высокую оценку советских и венгерских рецензентов, была опубликована в Венгрии (1981 г.) и имела огромный читательский успех. В 1985 г. новый ее вариант — «Введение в сексологию» — был издан и сразу же распродан в обеих Германиях. В 1979 г. я был избран действительным членом Международной академии сексологических исследований (МАСИ), самого престижного мирового научного сообщества в этой отрасли знания.

Вначале я не воспринимал эту работу особенно серьезно, считая ее чисто популяризаторской, каковой она по своему жанру и была. Но общение с крупнейшими сексологами мира во время Пражской сессии МАСИ в 1979 г., куда меня пустили по недосмотру партийного начальства, показало мне, что некоторые мои мысли не совсем тривиальны и интересны также и для профессионалов. Естественно, это актуализировало вопрос о русском издании книги.

Самиздат уже энергично ее распространял без моего участия. Все советские рецензенты рукописи (а их было в общей сложности свыше 40) дружно спрашивали: «А почему это должно печататься

только за границей? Нам это тоже интересно и даже гораздо нужней, чем им!» После того, как рукопись беспрепятственно прошла Главлит, я тоже подумал: а в самом деле, почему бы и нет, ведь все за, никто не возражает? Для социолога моего возраста это была, конечно, непростительная глупость.

В начале 1979 г. я предложил уже залитованную и принятую к печати за рубежом рукопись издательству «Медицина» — только оно могло печатать такие неприличные вещи. Заявку сразу же отклонили как «непрофильную для издательства». Дирекция Института этнографии попыталась, при поддержке крупнейших физиологов академиком Е. М. Крепса и П. В. Симонова, протолкнуть ее в издательство «Наука» под грифами Института этнографии и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (причем П. В. Симонов согласился быть ее титульным редактором) под нейтральным названием «Пол и культура». Однако вопреки обязательному решению редакционно-издательского совета АН СССР и несмотря на кучу положительных отзывов, «Наука» книгу не напечатала.

Меня усиленно приглашали на разные научные и околонучные семинары. Все хотели что-нибудь узнать о сексологии, но не смели назвать вещи своими именами. В одном биологическом институте мой доклад называли «Биолого-эволюционные аспекты сложных форм поведения». Название своего доклада на всесоюзной школе по биомедицинской кибернетике я даже запомнить не смог — очень уж ученые были там слова. А на семинаре в Союзе кинематографистов моя лекция называлась «Роль марксистско-ленинской философии в развитии научной фантастики»! И никто не сознавал, что все это не столько смешно, сколько унижительно. Как будто я показываю порнографические картинки...

Я пробовал обращаться в высокие партийные инстанции, но аппаратчики боялись, что их могут заподозрить в «нездоровых сексуальных интересах» (здорового сексуального интереса у советского человека по определению быть не могло). Зато я научился безошибочно отличать ученого на высокой должности от начальника с высокой ученой степенью: ученый, если он понимает значение вопроса, постарается что-то сделать, начальник же, будь он трижды академик, непременно уйдет в кусты. Если верить этому критерию, академики в ЦК КПСС были, а ученых не было.

После того, как ситуация с моей книгой приняла скандальный характер, чтобы задним числом оправдать невыполнение решения РИСО, рукопись послали в сектор этики Института философии, с твердым расчетом получить отрицательный отзыв, так как, с точки зрения нашей тогдашней официальной этики, всякая половая жизнь казалась сомнительной. Но и здесь произошла осечка. Институт философии дал на мою книгу положительный отзыв за четырьмя подписями, определенно рекомендовал книгу напечатать и подчеркнул, что другого автора по этой теме в стране нет. Однако, в порядке привычной перестраховки, рецензенты пустились в размышления: на кого рассчитана книга? Если только на специалистов, то можно печатать все, как есть. Но книга-то интересна всем, а «некомпетентный читатель» может чего-то не понять. Например, «положение о бисексуальности мозга может сослужить плохую службу половому просвещению в борьбе с

половыми извращениями...». Следуя этой логике, астрономы должны засекретить факт вращения Земли, чтобы находящиеся в подпитии граждане не могли использовать его для оправдания своего неустойчивого стояния на ногах. Не следует и упоминать, что все люди смертны: во-первых, это грустно, а во-вторых, врачи нас тогда совсем лечить перестанут! Тем не менее, издательство Академии наук СССР стало именно на точку зрения предполагаемого «некомпетентного читателя», и рукопись книги была мне возвращена.

Не буду рассказывать всю эту долгую историю. Понимающим людям вряд ли нужно объяснять, что значит четыре раза без компьютера переписать 20-листовую книгу, поддерживая ее на уровне мировых стандартов в течение 10 лет! В 1988 г. советское издание «Введения в сексологию» все же вышло. Весь 200-тысячный первый тираж был распределен между медицинскими и научными учреждениями по особым спискам. На следующий год выпустили второе издание. И ничего страшного с советским народом не произошло...

До сих пор я говорил о содержании своей научной и литературной работы. Но надо ведь иметь еще и место работы. После окончания в 1950 г. аспирантуры я два года преподавал в Вологодском пединституте, затем вернулся в Ленинград, где, несмотря на острую нужду в философских кадрах и мою к тому времени уже достаточно высокую профессиональную известность, девять месяцев оставался безработным — совместный результат еврейской фамилии и беспартийности (в те годы преподаватели общественных наук входили в номенклатуру партийных органов и даже официально утверждались бюро горкома партии). Последний недостаток мне помогли исправить в Ленинградском химико-фармацевтическом институте, куда Чиеня трудоустроили в мае 1953 г., после «отбоя» по делу «врачей—убийц».

С 1956 по 1968 гг. я преподавал на философском факультете ЛГУ. По правде говоря, это было мое настоящее место и призвание, я любил студентов и преподавательскую работу. Но обстановка на факультете никогда не была для меня благоприятной. В 1967 г. атмосфера вокруг нас с В. А. Ядовым, который организовал в ЛГУ первую в стране социологическую лабораторию, стала угрожающей: доносы, распространение злонамеренных слухов и тому подобное.

Не обладая бойцовским характером, я предпочитал уходить из конфликтной среды и в 1968 г. принял приглашение перейти на работу во вновь организуемый Институт конкретных социальных исследований (ИКСИ) АН СССР, где собрались едва ли не все ведущие социологи страны. В ИКСИ я сначала заведовал сектором социологии личности и участвовал в выработке программы исследования «Личность и ценностные ориентации», а затем, после того, как эту работу возглавил В. А. Ядов, с самого начала бывший ее душой и мозгом, создал отдел истории социологии. Наш маленький, но высококвалифицированный коллектив работал очень продуктивно. Был написан первый том большой книги по истории западной социологии (его сокращенный вариант «История буржуазной социологии XIX — начала XX вв.» вышел только в 1979 г.), опубликована программа по этому курсу для аспирантов, намечен обширный план переводов классиков социологии. Однако

Институт с самого начала жил в обстановке враждебности и блокады со стороны догматических «служителей культа» из числа старых философов, «научных коммунистов» и реакционной части партаппарата.

Советская социология, или, как ее тогда называли во избежание конфронтации с истматом, «конкретные социальные исследования», возникла на волне хрущевских реформ и имела своей официально провозглашенной функцией их информационное обеспечение. Но даже в таком узком, подчас технократическом понимании социология несла в себе мощное социально-критическое начало. Ведь она предполагала изучение действительности, которое неизбежно, каким бы робким конформистом ни был сам исследователь,— а среди первых советских социологов таковых было немного, в большинстве своем это были смелые, мужественные люди,— демонстрировало ложь и несостоятельность господствующей идеологии. И эту опасность безошибочно чувствовали партийные бонзы. ИКСИ был создан только по инерции, когда никакой нужды в нем у партии уже не было. Общественные науки могут развиваться, только изучая реальные социальные проблемы. Между тем «зрелый социализм» принципиально утверждал собственную беспроблемность. Советское общество достигло такой стадии зрелости, когда сущность и явление совпали, сделав науку излишней.

Люди, стоявшие у истоков советской социологии, не имели на этот счет иллюзий. На всем протяжении организации, а затем распада ИКСИ мы поднимали один и тот же тост — «за успех нашего безнадежного дела». Тем не менее, делали все, что могли. Но в 1972 г. Институт подвергся идеологическому и кадровому разгрому. В конечном итоге я нашел себе прибежище в Институте этнографии АН СССР.

Дирекция Института этнографии хотела, чтобы я занялся актуальными проблемами национального характера и этнической психологии, поставленными в моих новомирских статьях. Но я знал, что серьезная, честная работа по этой тематике в «беспроблемном» советском обществе не реальна, и предпочел взять сугубо академическую тему, никак не связанную с отечественными реалиями,— этнографию детства. Речь шла о сравнительно-историческом изучении возрастного символизма и процессов социализации у разных народов. Тематика эта была чрезвычайно интересной, и я надеялся, что к ней вскоре примкнут историки России. История русского детства — сплошное белое пятно, золотое дно для исследователя, причем эта тема никогда не была запретной.

Надежды на молодых историков—русистов не оправдались, этой темой и по сей день интересуются только на Западе, но в целом я поступил правильно. Уход в этнографию, который был для меня сознательной внутренней эмиграцией, избавил меня от многих бед и унижений, которые пришлось пережить в 1970—80-х годах моим друзьям—социологам. Я переменял область занятий, но продолжал работу: хотя в стране был застой, лично у меня простоя не было.

Мы подготовили и опубликовали 4 выпуска «Этнографии детства» (1983—1991), посвященных социализации детей и подростков у народов зарубежной Азии, Австралии и Океании, коллективный труд «Традиционное воспитание детей у народов

Сибири» (1988) и сборник «Этнические стереотипы мужского и женского поведения» (1992). Теоретико-методологическим и историографическим аспектам этой новой междисциплинарной области знания посвящена моя монография «Ребенок и общество: историко-этнографическая перспектива» (1988). В Институте сочувственно относились и к моим «посторонним» занятиям, будь то сексология или юношеская психология.

Тем не менее жить становилось все труднее. По характеру работы мне были жизненно необходимы международные научные связи. Если бы не помощь зарубежных, особенно американских, коллег, посылавших мне книги и журналы, я ничего не мог бы сделать — сюжеты, которыми я занимался, для нашей страны были новыми и не всегда понятными, а научная самостоятельность редко дает ценные результаты. Краткосрочные и случайные заграничные поездки — сколько-нибудь серьезных профессиональных командировок, несмотря на многочисленные солидные и полностью оплаченные приглашения, мне никогда не давали — я использовал для получения библиографической информации, а проще говоря — выпрашивания необходимых книг.

Но в конце 70-х годов Ленинградский обком партии, самый страшный и реакционный обком в стране, превративший город мирового культурного значения в захолустье, перекрыл и этот, последний канал. Дышать стало абсолютно нечем. Я пытался что-то объяснить, протестовать, но это было только лишнее унижение.

И тогда я сказал себе: хватит! В 1982 г. поклялся никогда больше не переступить порог Смольного, сложил весь свой двадцатилетний научный архив по юношеской психологии — рукописи, оттиски зарубежных статей, документы — в большую картонку, надписал на ней «Париж» и убрал на полку в уборную. Надпись означала, что эту картонку я открою, только вернувшись из Парижа. В Париж меня, естественно, не пустили. А через несколько месяцев у нас прорвало водопроводную трубу, и картонка была слегка подмочена. Я снял ее с полки и не знал, что делать дальше. Распечатать — значит нарушить данное себе слово и заново переживать, что такие ценные материалы пропадают. Не открывать — бумага начнет гнить. Не знаю, сколько бы я так просидел перед подмоченной картонкой, но неожиданно в квартиру позвонили. Я открыл дверь и увидел пионеров, собирающих макулатуру. Я понял, что это — знамение свыше и отдал детям их светлое будущее в их собственные руки.

И на душе у меня стало легко и спокойно: этих забот в моей жизни уже нет и никогда больше не будет! Неэффективность советской системы — средство ее саморазрушения, пытаться улучшать ее педагогику — значит помогать собственным тюремщикам. Пусть все идет своим путем. Надо завершить ранее начатое, а потом постараться уменьшить контакты с советской действительностью, ограничив их неизбежными и отвратительными бытовыми реалиями, в коих и состоит ее подлинная сущность.

Это решение не было следствием личной обиды и минутного раздражения. Я прекрасно понимал, что мои обиды — ничто по сравнению с тем, что переживали многие другие люди, не говоря уже о диссидентах, которые высказывали вслух то, о чем я думал про себя. И работал я не ради горкомовских чиновников, а чтобы хоть как-то облегчить жизнь наших замордованных подростков. Но выше

головы не прыгнешь. Просто я больше не мог! Этой кафкианской истории, точнее — ее социальному смыслу я посвятил маленькое эссе «Что такое Сизифов труд и как с ним бороться?», опубликованное в 1989 г. в журнале «Химия и жизнь».

Я собирался так же поступить и со своим сексологическим архивом, но немецкое издание «Введения в сексологию» затянулось до 1985 г., а потом я переехал в Москву, где жить было чуточку полегче. Кстати, при переезде я ликвидировал часть своей библиотеки, твердо решив сконцентрироваться исключительно на исторических сюжетах и мечтая, хоть и зная, что это недостижимо, когда-нибудь вслед за Пастернаком крикнуть детворе: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?».

Свою программу завершения всего, ранее начатого, я выполнил к 1987 г. Но тут пришла перестройка, и все началось заново. Рухнули цензурные запреты, стало можно ездить за границу, появился социальный заказ на самостоятельное мышление. Пришлось вернуться и к юношеской проблематике, хотя наверстать упущенное время было невозможно. Я снова стал читать советские газеты (раньше слушал только «вражьи голоса») и даже писать политические статьи.

Но вместе со свободой пришло некоторое чувство растерянности. Раньше главным критерием оценки любых публикаций была смелость, то, насколько автору удалось поднять планку дозволенного. Теперь на первый план (по крайней мере, для меня) стала выходить глубина мысли, ее конструктивность и ответственность за результаты возможной реализации твоих идей. Как и большинство моих сверстников, я не был готов ко многим новым вопросам, тем более, что они требовали не общих рассуждений, а однозначных, практических решений. Я с удовольствием читал разоблачительные антисталинистские статьи, считал их чрезвычайно важными и полезными, но лично для меня в них было не так уж много нового.

В 1963 г. в Чехословакии мне подарили большую тяжелую вазу литого стекла. Она казалась монолитно-несокрушимой, но меня предупредили, что если она упадет, то разобьется буквально вдребезги, склеить ее будет невозможно. Эта ваза у меня до сих пор цела, с 1968 г. я видел в ней зримый символ советской империи и был твердо уверен, что когда на смену «кремлевским старцам» придут более молодые и энергичные руководители, которые попытаются что-то исправить, результат окажется катастрофическим — общество, цементировавшееся только грубой силой, распадется на мельчайшие атомы. Я считал этот исход неизбежным и исторически справедливым. Ужасный конец лучше, чем ужас без конца.

Сегодня эта уверенность оправдывается, но радости это не приносит. Я не экономист, как лучше преобразовать экономику, не знаю. Нет у меня и вкуса к политической борьбе, на любых демонстрациях и митингах я чувствую себя неуютно. У меня слабый голос, когда люди кричат, я предпочитаю молчать. Я понимаю, что революционный период невозможен без пережестов и крайностей, но боюсь профессиональных революционеров, какие бы слова они ни говорили. Многие наши антикоммунисты, называющие себя демократами, кажутся мне стопроцентными большевиками, у них тот же стереотип мышления: одни хотели начать заново всю всемирную

историю, другие пытаются зачеркнуть ее последние 70 лет. Все это мы уже проходили.

Я понимаю и приветствую радикальные перемены, но не верю, что можно начать завтрашний день с нуля или с позавчерашнего, минуя вчера и сегодня. Мне часто вспоминаются слова Гейне:

Andre Zeiten, andre Vogel!  
Andre Vogel, andre Lieder!  
Sie gefielen mir vielleicht  
Wenn ich andre Ohren hatte.

(«Другие времена — другие птицы. Другие птицы — другие песни. Они, может быть, нравились бы мне, если бы у меня были другие уши».)

После 1986 г. я хотел заниматься двумя вещами.

Первое — издание серии переводов «Человек в междисциплинарной перспективе», где должен был пригодиться мой широкий, по любым международным стандартам, общенаучный диапазон. По объективным причинам (сначала неповоротливость издательств, а затем развал экономики) эта затея полностью провалилась, ни одного намеченного сборника издать не удалось. Впрочем, сейчас, с помощью зарубежных фондов, переводится много разных, в том числе хороших, книг по общественным наукам. То, что мои знания и пять лет работы остались невостребованными, огорчительно, но не страшно, я к этому привык.

Второе дело — развитие сексуальной культуры, уровень которой в стране невообразимо низок, причем это не локальная, а большая макросоциальная проблема. Все мои попытки в конце 1980-х годов добиться чего-то с помощью партийных органов и средств массовой коммуникации оказались бесплодными. В результате место сексуального просвещения сегодня прочно заняла порнография. В 1992 г. мне удалось издать популярную книгу «Вкус запретного плода», которая гораздо лучше «Введения в сексологию», но никто из моих знакомых даже не смог ее купить. В настоящее время в США готовится к печати моя новая большая книга, написанная во время пребывания в Гарвардском университете, — «Сексуальная революция в России», в которой отношение к сексуальности рассматривается как модель более общих социально-культурных процессов. Но дойдет ли она до русского читателя — Бог весть.

Определенные положительные сдвиги и в этом вопросе есть. В 1993 г. сотрудниками Института социологии В.Д. Шапиро и В.В. Червяковым, при моей теоретической помощи, проведено первое в истории страны профессиональное исследование сексуального поведения и установок подростков. Есть надежда, что эта работа продолжится. Не без влияния моих выступлений в прессе в Петербурге создан первый в стране телефон доверия для жертв изнасилования; кажется, создается он и в Москве. Я горжусь тем, что помогал и помогаю декриминализации и формированию самосознания геев и лесбиянок.

Эта работа сопряжена с большими психологическими издержками. Я глубоко равнодушен к любым сплетням и домыслам на свой счет, однако терпеть не могу, когда меня называют «сексопатологом» или «сексологом». Но только люди старше 40 еще

помнят, что на самом деле я социолог. Невыносимо обидно переводить остаток жизни на разъяснение того, что, скажем, женщины должны регулярно производить самоосмотр груди. Но если люди, которые по долгу службы обязаны это делать, ленивы или невежественны, кто-то должен брать их функции на себя.

Доволен ли я своей жизнью? Я никогда не мог заниматься своим прямым делом. Раньше этому мешала идеологическая тупость, теперь — обнищание страны, которой ученые практически не нужны. Пожилым людям революции вообще противопоказаны. Подобно большинству своих ровесников, в славном новом мире дикого первоначального накопления я чувствую себя посторонним. Старая жизнь кончилась, на новую не осталось сил. Но эпоху не выбирают...